

Ирина Беньковская

«До сна ли тут, когда сгустилась мгла...»

Амстердам

Скоро кончится всё, а пока рука, натыкаясь на
пряжку, узел – впотьмах, впопыхах – нащупывает пропажу,
и железо с лязгом цепляется за железо, и тоненькая струна
все поет во тьме, и скулит рожок, поднимая стражу;

не отсрочить конец, и гудит-спотыкается барабан,
и рифмуется красное с красным, кушак с камзолом,
золото с позолотой,
птичьи лапы на шляпах, широкий шаг, рукоять на весу, туман;
переходим на бег; и когда рожок захлебнется высокой нотой,

напоровшись на сталь, обомрешь и очнешься
в мерцающей черной реке –
в стороне, в уголке, под дальний грохот чужой победы;
там фарфоровый ручнойник, и тени на потолке,
стылый край прикипает к губам, и колышутся копыя Бреды,

зарастают легальным каннабисом-забытьем
берега, очертанья, границы, пути-дороги;
если схлынет жар – будет свет, окно, водоем,
женский профиль, далекий колокол, галочка в каталоге.

Так прощается жизнь, вытекая по капле, теплится напослед
тихим лепетом, тусклым золотом, вполнекала –
просквозит на просвет и без боли сойдет на нет.
Но быстрее и правильной – рухнуть во мглу канала;

пыль, свечение, облако; контуры неясны –
будто кто-то заботливый выдул с полки сгоревший порох;
и какие сны, говоришь, приснятся, какие сны
в этом самом сне? А такие, брат, от которых

отшибает навеки память. Одна лишь тоска жива;
налегке, все свои укрепления сдав без боя,
знай себе наблюдай, как, смыкая края, без следа,
без крови, без шва
заживает прореха, оставленная тобою.

Оттого-то и длится миг, и слезный не тает ком,
и растраву копит невидимая запруда;
вспышка, птичка, улыбочку. И карлица с петухом
не отводит глаз, и сияет свет – не понять, откуда.

Дом Руссова

завтра еще всплакнешь над ограбленным градом
гроздью горелой лепнины, обугленным виноградом

кроткими кариатидами, хрупкими куполами
ну, а пока гляди, как польхает пламя

пляшущий объектив, запотеваает линза
жаркая головня пляшет в руке ордынца

конница с визгом ввинчивается в город, как дрелью в стену
словно пуля – навывлет, как нож – меж ребер, осколок – в вену

с визгом, хохотом, топотом; пружинит посадка волчья
вот вам гостинец, горит детинец, что ж вы стоите молча

знаки огненных стрел, топот мохнатых лошадок
лисьи хвосты над площадью пляшут, мечутся; сладок

сладок ли дым отечества, жизни, которой не будет, –
осень выжжет под корень, после зима остудит –

башенок, куполов, всех флорентийских штучек
каменных шоколадных долек, ирисок-тянучек

всех бесполезных радостей, гибких певучих арок
горький грецкий орех, горький город-огарок

здравствуй, чума
прощай, осень в равеннской сини
мерзлая изабелла, слоганы на латыни

всё, что навек осталось среди сиротских скорлупок
Фаустовых пробирок и фарфоровых ступок

там, где все длится ночь по вечным своим законам
там, где стрела впивается в кровлю с гортанным стоном

где смола с крепостной стены льется в темень, не остывая
где брезентовая змея бьется в судороге живая

* * *

Свет на том берегу. Стол заказов, бюро находок,
порт приписки всех затонувших подводных лодок,

столб вдали верстовой, место встречи и дом свиданий,
грязный скомканный лист неоправданных ожиданий;

на ладони свистулька из глины огнеупорной.
Вглубь, и вниз, и вперед. Вот сомкнулся свод
над водою черной.

Стонет молот, уходит холод; из-под пологих
сводов мерно доносится сердцебиенье многих.

И нельзя вздохнуть, и скрипит ладья, и не видно света.
Чье-то имя мешает петь, как во рту монета.

Четвертая стража

Тот, кто войти под твой стремится кров,
поет, не выговаривая слов;
не кашляет охрипшим nevermore'ом –
в невидимые дует паруса,
и тонкие чужие голоса
ему бесстрастно подпевают хором.

До сна ли тут, когда сгустилась мгла.
Жужжи, жужжи, казенная игла,
верти волчок, царапай дно колодца;
искрится нить в стеклянном колпаке,
и свет ее с той мглой накоротке,
что в стены ненадежные скребется.

Твой терпеливый гость тихонько трет
напильничком мышинным взад-вперед.
Поет волчок, подрагивает веко;
жужжи, жужжи, наматывай круги.
Снаружи, как положено, ни зги,
ни зверя, ни звезды, ни человека,

что, собственно, не значит – ни души.
Звени ключом, бумагами шурши –
не отменить присутствия, дыханья
и в воздухе особой тесноты,
что предваряет взгляд из темноты
и влажных крыльев легкое касанье.

И, в общем-то, всего осталось чуть –
неловко улыбнуться и шагнуть

навстречу, путь себе отрезав к бегству,
и губы разомкнуть не без труда,
чтоб прошептать дежурное: «Куда
ведешь меня?» И далее по тексту.

Юг

В заведении средней руки, в неурочное время, в полу-
мраке, в обнимку, покачиваясь под Пьяццолу –

раз-два-три-четыре, разматывая клубок, вывязывая цепочки
шаг назад, безымянным пальцем на позвонок –
такие тире и точки

раз-два-три, умри-отомри, у меня внутри заводная птица
всё уже позади, ничего не жди, ничего уже не случится

дело техники – все эти ножницы, петельки да восьмерки
а тем временем где-то сам-друг со стаканом в своей каморке

управдом безымянных кладбищ сидит пригорюнившись,
ждет приказа –
ни в одном глазу, точит-давит слезу, а она не идет, зараза

он сидит, вспоминает былые деньки, золотую сказку
пустыри да подвалы, трюмы, забитые под завязку

вспоминает, в стакан подливая рукой одеревенелой,
как хватили сплеча тесаком – до патагонских снегов, до белой

жгучей рези в глазах – сверху вниз по карте, от севера и до юга
и светила лампа в лицо на краю девятого круга

спой мне, хрипая птичка, повадку свою позабыв воронью,
как заталкивают в авто, на затылок нажав ладонью

как отходят эскадрой Хароновы лодки от номерных причалов
и про то, что ток – это просто боль, а не разность потенциалов

но в широком наклонном луче – беспечальная, золотая –
пляшет тонкая пыль, то снижаясь, то вновь взлетая

если долго глядеть на фламандский столб золотого света –
осторожно прищурившись, встав чуть поодаль, где-то

в десяти шагах – плюс-минус, коли расчет неточен –
открываются там врата, сквозь которые – если очень

попросить, тогда – молчаливых, чужих, с синевой на скулах,
отпускают вас на побывку, как Диоскуров –

не надолго, а так – взглянуть, как тихонько скользит по полу –
раз-два-три-четыре – знакомая чья-то тень,
плача под Пьяццолу

и – назад, туда, где ни страх, ни тлен уже не лишат покоя

что мне делать теперь без тебя, mi bien
что мне делать с тобою

Южный Крест

Ты догонишь меня. Круглой высохшей тыковкой ткнешься
в ладонь,
металлической трубочкой звякнешь о край.
Горстью горькой травы
вмиг сведешь гортань; женской тенью с визгом закружишься
осолонь,
взмахнув шерстяным одеялом с прорезью для головы.

Многоствольная хриплая флейта, труба, из которой дым,
якорь, глиняная голубка, зацепка, зарубка, шрам

на болотно-бежевой карте, обтрепанной по краям,
золотистая узкая кромка, окаймленная с запада голубым.

Горький край, где куда ни кинь – упирается глаз
или в горную цепь, или в синюю гладь, – погляди мне вслед,
ледяной иглой наугад, вслепую, сквозь войлок лет –
прямо в сердце, туда, где капелька запеклась.

Потайной узелок в развеселом тряпичном ковре,
зоркий птичий глазок, бирюзовое зернышко в серебре –
не сглотнуть комок, и не выкинуть ни черта
из набившей оскомины песни; на дворе и в календаре –
новый век, но корявые буквы на бурой коре
знай растут себе с каждым годом, хоть четкость уже не та –

расплывается, ноет, и путаются слова,
под селитряным солнцем стынет вода-слюда;
мелкой россыпью разбрелись по склонам твой стада,
и знакомой стойкой отравой горчит трава.

Пентатонный подземный стон из расщелины, где темным-
темно даже днем, поднимается, словно дым
от невидимого, от неведомого огня.
Всё проходит, ничто не пройдет. Догони меня,
забери домой, укутай коконом шерстяным.

Век бы так лежать, коленями заслонив живот,
век смотреть, как сочится по чайной ложке янтарный свет,
век бы слушать, как глухо и внятно берцовая флейта поёт,
иногда срываясь на невыносимый фальцет.

Песенка

слово на ветер, стая
с клекотом на карниз
черная, винтовая,

дрогнула, как живая
конус улиткой вниз

не отдышавшись толком
в пропасти между волком
и беспородным псом
всё растолкать по полкам
не хлопоча лицом

сдавит, потом отхлынет
чай безпризорный стынет
известь хрустит в крови
в скважине ключ заклинит
letum non omnia finit
не улетай
живи

